

## **Глава 8. Механизмы и формы надлокальной интеграции в славянском мире в VII–X вв. в контексте политогенеза (спорные вопросы современной историографии)**

*Алимов Д. Е.*

### **Вводные замечания**

Вопрос о характере и эволюции единиц социально-политической интеграции в славянском мире в раннее Средневековье (VII–X вв.) является ключевым для понимания специфики славянского политогенеза и генезиса ранних славянских государств. Между тем в современной науке отсутствует консенсус по данному вопросу, что вызвано как объективными трудностями интерпретации имеющихся источников, так и проблемами сугубо методологического характера. Ранне-средневековые письменные источники, описывающие ситуацию в славянском мире, содержат в себе отсылки к неким относительно крупным социальным организациям, которые совмещают в себе признаки этнической общности и политического образования. В исторической литературе такие этнополитические организмы обычно именовались племенами, но подобное обозначение несколько не проясняло их характера. В последнее время в историографии наметилась тенденция называть такие организмы вожествами, но при имеющейся степени их изученности такое определение представляется поспешным. Необходимо иметь в виду, что предстающие на страницах источников социальные организмы могли быть не столько отражением реальной ситуации, сколько результатом определенного способа описания социально-политической реальности «варварского мира». В этой связи необходимо обратить самое пристальное внимание на то обстоятельство, что некоторые источники идентифицируют внутри «племен» более мелкие единицы социальной интеграции (поселенческие группы, территориальные округа, «населенные крепости»), политическая роль которых остается неясной. Таким образом, описываемые в источниках «племена» могли являть собой не только вожества как таковые, но и конфедерации общин или вожеств, сетевые политии и даже межсоциумные коммуникативные сети.

Прояснить ситуацию в ряде случаев помогает археологический материал. Соотнесение информации письменных источников с результатами археологических раскопок, позволяющими определить уровень социальной дифференциации, облик и структуру поселений и т. д., дает возможность выделить несколько вариантов социально-политической интеграции в раннесредневековом славянском мире. При одном из них надлокальная интеграция не приводила к формированию территориально очерченных политий, существование которых предполагало бы наличие ясно выраженных иерархических структур во главе с вождями. Такая модель социально-политической организации, которая может быть

определена как гетерархическая, была характерна для некоторых западнославянских социумов (например, в Польском Поморье), где на ее основе сложились специфические типы надлокальной интеграции – конфедерации общин и простых вожеств.

Гетерархическая модель была первоначально характерна и для славян на Балканах, однако отличалась здесь заметным своеобразием: славянские территориальные единицы (жупы) были привязаны здесь к остаткам античной инфраструктуры (крепости, дороги, участки обрабатываемой земли). Относительная редкая населенность, гористый рельеф и ясно читаемая ориентация местных поселенческих сгустков на античные административно-территориальные единицы способствовали значительной социально-политической раздробленности, вследствие чего импульсы к надлокальной интеграции приходили в этот регион не столько в результате взаимодействия равноуровневых политий, сколько в результате вовлечения местных общин в сферу влияния крупных раннесредневековых государств (Франкская держава, Византия). Аналогичным был процесс становления крупных надлокальных структур и в тех западнославянских регионах, в которых ощущалось сильное воздействие Франкской державы (Полабье, Чешская котловина): происходившие здесь процессы выдвижения правящих элит и кристаллизации политических структур в виде сложных вожеств были следствием как необходимости консолидации местных общин и простых вожеств перед лицом могущественной внешней силы, так и прямого или косвенного «структурирования» местных социумов вследствие вмешательства франков. Наконец, еще один вариант социально-политической интеграции в славянском мире был связан с активностью групп профессиональных воинов. Очевидно, именно такие гетерогенные военные элиты, унаследовавшие воинские традиции Аварского каганата, сыграли в IX в. решающую роль в формировании крупных славянских политических структур в Карпатской котловине и на ее окраинах (Моравия).

Сопоставление ситуации в разных уголках славянского мира позволяет говорить и о сходстве механизмов объединения общин как базовых единиц социально-политической интеграции, и о различиях, определяемых конкретными природными и демографическими условиями, а также характером и степенью развития связей конкретных социумов с уже существующими ранними государствами. При этом традиционные для славистики представления о славянской «акефальности» и «ксенократии», несомненно, нуждаются в пересмотре.

### **1. Первичная надлокальная интеграция в славянском мире: в поисках «племен» и «вожеств»**

В современной историографии все более популярным становится взгляд, согласно которому так называемые «славянские племена», названия которых нам сообщают раннесредневековые источники (хорваты, сербы, мораване, хорутане, ободриты, висляне, древляне и пр.), были не столько этническими (в традиционном понимании этого слова), сколько этнополитическими единицами. Тезис о политическом характере, по крайней мере, части славянских племен, действи-

тельно выглядит логичным, так как в дошедших до нас источниках они сплошь и рядом выступают как политические акторы: ведут войны, платят дань, отправляют посольства и т. д. Камнем преткновения, однако, остается вопрос об основаниях, на которых жила социально-политическая кохезия такого племени.

Так, одна группа исследователей предпочитает говорить о том, что ключевую роль в формировании славянских *gentes*, как именуются такие общности в современных им латинских источниках, сыграла воинская элита. Например, польский историк Х. Ловмянский, размышляя о генезисе так называемых «больших племен» в славянском мире, утверждал, что в эпоху миграций и колонизации новых пространств имплементировать на новом месте название древнего «большого племени», создавая тем самым новое племя под старым именем могла только хорошо организованная воинская группа (Łowmiański 1970: 41). Чешский историк Д. Тржештик, подвергая критике традиционное представление о славянских племенах как о кровнородственных или территориальных объединениях, утверждал, в частности, что на территории Чешской котловины в IX в. существовало не множество племен, как традиционно считалось в чешской историографии, а всего лишь одно племя, то есть этнополитическая единица – «племя чехов/богемов» (*gens Boemanorum*), чья кохезия основывалась на политической элите (Třeštík 1988, 1994). Стоит отметить, что в своих подходах к племенной проблематике Д. Тржештик во многом основывался на теоретических положениях немецкого историка Р. Венкуса и развивавших их представителей так называемой венской школы исторической этнографии, рассматривавшей «gentes» (племена) раннесредневековых источников как гетерогенные этнополитические единицы. При этом Тржештик все же считал, что между германскими и славянскими политическими племенами существует некоторая разница, обусловленная оседлым земледельческим характером славянского образа жизни и первенствующей ролью воинских миграций в формировании германских племен эпохи Великого переселения (Třeštík 2001: 10). Политический взгляд на племя принимается и в современной словацкой историографии, особенно в работах Я. Штайнхубеля (Steinhübel 2014), а также М. Лысого, недавно использовавшего этногенетическую модель венской школы при описании формирования племени мораван (Lysý 2014). Словацкий историк М. Хомза даже считал возможным использовать данную этногенетическую модель для объяснения появления «славянского племени» в собственном смысле слова (*gens Sclavorum*), то есть первой в истории этнополитической единицы, принявшей в качестве своего имени название «славяне» (словене). Такая этнополитическая единица, по мысли исследователя, возникла в постгуннский период на территории Карпатской котловины (Homza 2002). И в современной словенской историографии П. Штих свободно использовал этногенетическую модель Р. Венкуса и венской школы, объясняя генезис альпийско-славянских этнополитических единиц карантанцев и карниольцев (Štih 1996, 2007).

В хорватской историографии М. Анчич, используя модель венской школы, объясняет возникновение южнославянских племен, прежде всего хорватов и сербов. По мнению Анчича, под хорватами и сербами в известном описании истории этих народов, содержащемся в трактате византийского императора Кон-

стантина Багрянородного «Об управлении империей» (середина X в.), подразумеваются правящие воинские слои соответствующих политических организмов, которые состояли из аристократических родов (Ančić 2000, 2011). Всецело солидаризируясь с данной позицией, подчеркнем, что и сама социальная терминология, используемая в трактате «Об управлении империей» при описании миграции хорватов, а именно понятия «*η γένεά*» («род») и «*ο λαός*» («народ, войско»), и зафиксированные на страницах трактата славянские этногенетические мифы позволяют интерпретировать хорватов и сербов как воинские группы во главе с харизматическими кланами, в случае с хорватами, возможно, даже божественного происхождения, что всецело отвечает модели этногенеза германских *gentes*, таких как готы и лангобарды (см. подробнее: Алимов 2016).

В российской историографии идеи о политическом характере славянских племен и ключевой роли воинских элит в их формировании наиболее ярко проявились в работах А. А. Горского. Однако, в отличие от своих зарубежных коллег, Горский не использовал модель Венкуса. Критикуя традиционно эволюционистское понимание славянского племени как совокупности родовых единиц, Горский ссылается на ярко выраженный территориальный характер названий большинства славянских племен, полагая, что подобные названия появились после эпохи славянских миграций, когда славяне под руководством воинских элит стали занимать новые территории (Горский 2011, 2016).

Другая заметная группа историков предпочитает говорить о том, что славянские племена – это результат политической структуризации вследствие контактов славян с уже существующими центрами политической власти. Условно подобную исследовательскую позицию можно было бы назвать концепцией вторичного политогенеза и фронтального этногенеза. Этногенез и политогенез в данном случае, естественно, неотделимы друг от друга. Так, хорватский историк Н. Будак склонен объяснять кристаллизацию на берегах Средиземного моря славянских этнополитических организмов, именуемых в византийских источниках «склавиниями», их контактами с Византией, а точнее, с номинально подвластными империи романскими городами прибрежной полосы, которые стали для славян одновременно центром притяжения и отталкивания (Budak 1990). Похожее мнение относительно западнославянских племен недавно высказал польский исследователь К. Фокт. Полагая, что механизмы формирования *gentes* у славян были такими же, как у германцев, исследователь считает, что воинские группы эпохи миграций перерастали в полноценные племена (*gentes*) только в зонах имперского (в данном случае франкского) лимеса. В отдаленных же от лимеса регионах воинские ядра оставляли лишь слабые следы (силезские хорваты), а в наиболее отдаленных регионах, где не было поступавших с имперских границ социально-политических импульсов или они были слишком слабы, например в Великой Польше или Поморье, никаких «племен» не было вовсе (Fokt 2016).

Другой польский исследователь Р. Касперский в своем недавнем исследовании генезиса племени ободритов (*gens Abodritorum*) распространяет на весь варварский мир тезис М. Фрида, что племя как особый вид надлокальной интеграции является сугубо вторичным политическим феноменом, то есть возникает только в

результате контактов примитивного социума с уже политически структурированным обществом. Отрицая существование гентильного дискурса, подобного франкскому, среди бесписьменных варваров, в том числе славян, Касперский интерпретирует ободритскую этнополитику как, с одной стороны, оборонительный союз славян против франков, а с другой стороны, как творение самих франков, полагая, что генезис ободритов можно уподобить появлению других общностей на границах империи Каролингов, а именно аквитанцев и бретонцев (Kasperski 2014).

К этой же группе исследователей, фокусирующих внимание на внешних импульсах, приведших к генезису славянской племенной организации, можно отнести и российского исследователя А. С. Щавелева, который недавно, на наш взгляд, убедительно показал, что генезис по крайней мере некоторых восточнославянских племен следует рассматривать как реакцию локальных социумов на изменившуюся в IX в. политическую конъюнктуру в Восточной Европе, а именно интенсификацию дальней торговли и натиск новой силы – русов (Щавелев 2015). Интересно, что из этих наблюдений можно сделать вывод об ошибочности традиционных интерпретаций социально-политической истории Восточной Европы как смены эпохи племенного устройства эпохой власти этносоциума «русь», так как, судя по всему, племена были здесь такими же новообразованиями, как и сами русы.

Наконец, еще одна группа авторов, которых условно можно было бы назвать постмодернистами, также считают, что славянские племена – это результат структуризации варварского хаоса извне, однако, в отличие от названных выше сторонников фронтального этнополитогенеза, эти авторы полагают, что такая структуризация осуществлялась не в реальности, а только на страницах письменных источников в соответствии с развитым этническим дискурсом их образованных авторов – греческих, латинских и славянских книжников. Иными словами, эта группа исследователей полагает, что «племена» – это конструкты средневековой историографии, впоследствии превратившиеся в конструкты историографии модерной (Tolochko 2008; Urbańczyk 2008; Толочко 2015).

Что же представляли собой, по мнению названных авторов, реальные, а не вымышленные летописцами славянские политические организмы? Отвечая на данный вопрос, можно сослаться на одного сторонников данной интерпретации, польского ученого П. Урбаньчика. Исследователь исходит из динамичности политической ситуации, характерной для периода вожеств, что не позволяет, по его мнению, обрисовать стабильные политические единицы. Вместе с тем он же отмечает, что с появлением вожеств в материальной культуре начинает формироваться символический стиль, посредством которого маркировались политически конкурирующие группы. Отмечая, что на польской территории манифестируемых таким образом линий демаркации выявить не удастся, исследователь заключает, что либо «структура власти была целиком рассеяна и каждый град представлял собой относительно независимый политический центр, либо взаимоотношения между ними изменялись слишком быстро, чтобы могло дойти до формирования отличительных черт материальной культуры». И в том и в другом случае, по мысли исследователя, нельзя говорить о каких-либо прочных терри-

ториальных образованиях, которые можно было бы назвать «племенами» (Urbańczyk 2008: 100).

Отталкиваясь от этого последнего замечания польского исследователя, отметим важный факт: почти все имеющиеся в историографии трактовки племен как политических относятся к так называемым «большим племенам», то есть этнополитическим единицам. Между тем на страницах источников изредка попадаются упоминания так называемых «малых племен» (особенно у полабских славян), чей политический характер отнюдь не столь нагляден, так как они, как правило, выступают в качестве сегментов «больших племен». В этой связи в историографии уже давно предпринимались попытки относить понятие «племя» только к «малым племенам» или, наоборот, только к «большим племенам». Например, такой крупный польский исследователь общественного строя ранних славян, как З. Войцеховский, именовал малое племя термином «szczep», под которым они понимал неполитическую поселенческую группу, в то время как племенами предлагал называть объединения («федерации») такого рода поселенческих единиц, которые могут быть осмыслены как политии (ободриты, велеты и т. д.) (Wojciechowski 1927: 25).

Проблема, однако, заключается в том, что такого рода поселенческие единицы (локальные общины? простые вожества?) при желании можно рассматривать и как политические единицы. Хорошим предостережением от поспешных суждений о политической роли и уровне социальной сложности таких единиц может служить сопоставление структуры славянских племен в том виде, в каком она предстает на страницах франкского «Баварского географа» (IX в.) и трактата византийского императора Константина Багрянородного «Об управлении империей», с описанием примитивных социально-политических объединений Древней Кореи и Японии на страницах китайского трактата «Сань-го Чжи». Во всех трех источниках речь шла о неких единицах социальной интеграции, но если в трактате Константина Багрянородного и «Баварском географе» их политическая роль, скажем так, выглядит неявной, то на страницах китайского источника подобные сегменты крупных «племен» последовательно именуются термином «*guo*» («государство», «владение») (Алимов 2013). В результате обнаруживается хорошо известное антропологам противоречие между иерархией и гетерархией.

По определению К. Крамли, гетерархия – это такое соотношение элементов в социальной системе, когда они не ранжированы (то есть не находятся в иерархическом отношении друг к другу) или обладают потенциалом для того, чтобы быть ранжированными различными путями (Crumley 1987: 158). Здесь, однако, следует заметить, что в случае с иерархией и гетерархией речь идет о принципах социальной организации, присутствовавших (в разном соотношении) практически в любом обществе, вследствие чего противопоставление гетерархии и вожества может показаться не вполне корректным (Бондаренко 2007; Мазарчук 2006). Как отмечает Т. Эрл, «социальные формы вожеств часто могут быть достаточно гетерархичными, что означает, что соперничающие иерархии и сферы деятельности существуют как между политической, религиозной социальной иерархией, так и между региональной политией и составляющими ее общинами

и родственными группами, а также между этническими и гендерными подразделениями». Это означает, что вождества могут сильно варьироваться по форме, базируясь на присущей тому или иному социуму организации общин и домохозяйств (Earle 2011: 31). Тем не менее во избежание путаницы было бы все же уместно проводить применительно к конкретным обществам различие между вождеством как политией в собственном смысле слова и тем, что в англосаксонской антропологии получило название *chieftaincy*, то есть непосредственно «политическим телом» вождества (*Ibid.*), под которым понимается связанная с вождем группа людей, непосредственно задействованная в процессе реализации его власти (в качестве удачного примера такого разделения можно сослаться на исследование К. Смита, посвященное социально-политическим структурам раннесредневековой Исландии: Smith 2004: 84).

Иерархический принцип организации предполагает рассматривать поселенческие единицы в составе «больших племен» как отдельные политии, а гетерархический принцип, напротив, побуждает видеть политию лишь в совокупности этих элементов. Из современных исследователей к гетерархической оптике, как кажется, склоняется польский исследователь П. Боронь, который в своем недавнем разборе польской историографии о племенах считает ошибочной сугубо организационную трактовку племени, полагая, что в случае с племенем речь идет не столько о политике, сколько об «обществе». При этом недостаток организационной ясности в таком «обществе» видится ученому не в пресловутой «славянской демократии», а в естественной для тех времен неразвитости механизмов принуждения (Wojciński 2001).

Какой вывод можно сделать из предпринятого нами обзора актуальных на сегодняшний день историографических позиций? В первую очередь можно отметить полное отсутствие в историографии какого бы то ни было консенсуса по вопросу о характере славянских племен. Однако такая историографическая не отличается новизной: консенсуса между исследователями не наблюдалось и ранее. Значит ли это, что наши знания о славянских племенах за истекшие десятилетия существенно не увеличились? Отнюдь не значит. Полагаем, что историографическая разногласица не является в данном случае результатом ошибочности той или иной из предлагаемых реконструкций славянского племенного устройства либо того, что ответ на вопрос, как возникали и что являли собой племена у славян, до сих пор не найден. Напротив, суждения исследователей, касающиеся генезиса отдельных славянских племен, представляются весьма убедительными. Просто все указывает, что никакой единой модели генезиса и устройства славянского племени не существовало.

Более того, достаточно внимательно присмотреться к обозначенным современными исследователями путям формирования славянских племен, чтобы понять, что они отражают универсальные модели этногенеза и политогенеза в варварском мире. Ничего специфически «славянского» здесь не обнаруживается, а сходство с германцами, кельтами, или, если угодно, теми или иными народами Африки или Океании налицо. Этот, казалось бы, банальный вывод заставляет задуматься не столько о смысле использования понятия «племя» (следует отметить, что современные исследователи по понятным причинам используют его

все реже и реже) применительно к раннесредневековым общностям на территории Центральной и Восточной Европы, сколько о смысле прилагаемого к этим «племенам» определения «славянский».

Здесь следует пояснить, что именно имеется в виду. Если вынести за скобки все те «племена», которые были вымышлены средневековыми летописцами или позднейшими историками (а таких племен наберется немало!), то появление «больших племен» в славянском мире, в политическом характере которых, как мы могли убедиться, современные исследователи практически едины – это, несомненно, результат происходившей в процессе политогенеза надлокальной интеграции. Такая интеграция могла происходить, в частности, в результате структурирующей роли более сильных политий государственного или негосударственного характера (например, Византии на Балканах, франков в Полабском регионе, русов в Восточной Европе или венгров в Боснии в XII в.) и в результате деятельности воинских элит. Последние при этом неминуемо представляли собой гетерогенные мобильные общности с синкретичной культурой, названия которых, ставшие впоследствии названиями больших славянских племен, зачастую имели неславянское происхождение (хорваты, сербы, карантанские косезы, те же русы, с течением времени превратившиеся в некое подобие славянского племени). Вспомним, что первую «славянскую державу» создали «сыновья гуннов» во главе с франкским купцом Само.

В отличие от так называемых «больших племен», то есть этнополитических организмов, «малые племена», то есть локальные социальные структуры, могут быть адекватно интерпретированы через модель гетерархии (о том, как «работает» гетерархически организованный социум, см. иллюстративный очерк Дж. Д. Хилла о кельтских обществах Британии 1-го тыс. до н. э.: Hill 2011). Правда, может показаться, что применению гетерархической модели к славянскому социуму препятствует древнейшая славянская социальная терминология. Наличие в языке балканских славян таких терминов, как «жупан» и «жупа»/«жупания», под которыми подразумевались соответственно носитель верховной власти и территория, находившаяся в его юрисдикции, может побудить искать в раннем славянском обществе простейшие иерархические структуры, относимые к типу так называемого простого вожества. Однако полисемантичность и вероятное аварское происхождение термина «жупан» не позволяют рассматривать жупанов как властный институт, четко привязанный к определенному уровню надлокальной интеграции славянского общества. То, что представители верхушки славянского социума стали именоваться аварским термином, очевидно, является результатом интеграции славянских социальных и поселенческих единиц, прежде всего сельских общин, в военно-иерархическую систему Аварского каганата, в которой славянские лидеры должны были составлять ее нижний уровень. Заметим, что такое понимание характера распространения термина «жупан» в славянском мире хорошо соотносится с некоторыми предложенными в последнее время в историографии моделями сосуществования славян и аваров, подчеркивающими роль военно-административной инфраструктуры Аварского каганата в процессах языковой славянизации (Curta 2004), а также в распространении единогообразного культурного габитуса (Dzino 2010: 171–174).



Не противоречат такому пониманию роли жупанов в раннеславянском социуме и те черты данного института, которые могут быть определены с помощью ретроспекции. Так, обращает на себя внимание наличие жупанов, выступавших в качестве глав сельских общин в позднесредневековой Истрии, где в период раннего Средневековья имела место активная славянская колонизация, использовавшаяся (и, возможно, даже поощрявшаяся) в своих интересах сначала византийской (в VII–VIII вв.), а затем и франкской (с конца VIII в.) властью. Это позволяет думать, что жупаны изначально являлись в данном регионе не просто главами сельских общин, но и военными лидерами, чьи военные функции не только не были утрачены в процессе подчинения славян византийской и франкской власти, но, напротив, нашли новое применение в условиях придания славянским общинам функций пограничной стражи на северных рубежах Истрии (Levak 2005: 63–64, 2007: 88–97). Такое сочетание относительно «эгалитарного» устройства славянского социума, в котором жупан вряд ли успел превратиться в полноценного вождя, с военизированным характером социально-политического устройства, представляется совершенно естественным для славянских общин, члены которых были втянуты в военную организацию Аварского каганата.

При этом, однако, нет никакой необходимости рассматривать в качестве аварского наследия сами жупы и/или жупании, как это неоднократно предлагалось в историографии на основе тезиса об аварском происхождении термина «жупан». Гетерархический вариант социального устройства славянских общин на Балканах, в зоне влияния Аварского каганата, представляется тем более вероятным, что ясно читаемая привязка местных жупаний и жуп к античным территориальным единицам может быть истолкована как результат естественной адаптации пришлого населения к сложившейся в автохтонной среде земледельческой инфраструктуре. Учитывая отсутствие в Далмации ясных признаков наличия вождеств, более вероятным представляется такой вариант социально-политического устройства славянских общин, при котором надлокальная интеграция не приводила к формированию территориально очерченных административных единиц или политий, существование которых предполагало бы наличие ярко выраженных иерархических структур во главе с вождями. Речь, таким образом, могла идти именно о такой модели социально-политической организации, которая в прежней историографии не вполне адекватно именовалась племенным союзом, а в настоящее время, под влиянием соответствующих антропологических концепций, все чаще именуется гетерархией.

Историографический дискурс «славянского народа» обычно интерпретировал гетерархический характер «малых племен» и иерархический характер «больших племен», возглавляемых воинскими элитами, через призму противопоставления якобы искони присущего славянам «эгалитарного» или «демократического» устройства не-славянам как носителям иерархических начал. Это означало, например, что засвидетельствованные письменными источниками неславянские имена или иноземное происхождение первых славянских правителей рассматривались как свидетельство того, что первые славянские политии создавались аварами, германцами, норманнами, а сами славяне являли собой социум, в силу тех или иных причин не расположенный к формированию «своей» поли-

тической организации. Так зародился хорошо знакомый историкам-медиевистам дискурс «славянской ксенократии», то есть якобы присущей «неорганизованным» славянам склонности к власти чужаков. Подобное представление, естественно, было обязано своим появлением самой идее «славянского народа» в том виде, в каком она оформилась в рамках лингвистически ориентированного национализма XIX столетия.

К настоящему времени эта лингвистически ориентированная парадигма, позволяющая констатировать существование того или иного этноса на основе идентификации якобы присущих ему объективных культурных признаков (в первую очередь языка), уже давно утратила свои некогда сильные позиции в изучении, интерпретации и репрезентации этнической истории раннего Средневековья. На то, что традиционное представление о славянах, в рамках которого славянский этнос отождествлялся со славяноязычным населением, а также с носителями ряда археологических культур, прежде всего пражской, находится в противоречии с доминирующими в современной науке антропологическими подходами к этничности, наиболее последовательно указал американский славист Ф. Курта. Согласно Курте, появление и использование понятия «славяне» («склавины») в византийских источниках никак не было связано с распространением славянского языка, а было результатом осмысления византийскими авторами социально-политической ситуации на дунайском лимесе империи, где в течение VI в. обозначилась власть локальных бигменов (Curta 2001).

В своем исследовании генезиса славянской идентичности Курта, однако, не выходил за пределы VI–VII вв., оставив, таким образом, без внимания развитие славянской этничности в период между VII в. и временем составления «Повести временных лет», которое, по словам Курты, являет собой верхнюю границу процесса «создания славян». В настоящее время процессы распространения славянской идентичности в указанный период с таких же антропологически ориентированных позиций рассматривают М. Хомза и группа его учеников (А. Месиаркин, Н. Малиновска). В рамках «школы Хомзы» подчеркивается роль кирилло-мефодиевской миссии и великоморавского культурного багажа в распространении славянской идентичности, из чего следует, что славянская этничность в собственном смысле слова распространилась среди славофонов, живших за пределами Карпатской котловины, прежде всего как результат христианизации и усвоения ими славянской письменной культуры (Homza 2018). Нам представляется, что подобный взгляд на распространение славянской идентичности является наиболее удачной научной рационализацией зафиксированной в «Повести временных лет» древнейшей собственно славянской традиции происхождения славян, согласно которой первоначально славяне проживали в «Словенской земле», расположенной на Дунае.

Какие последствия сулит подобная конструктивистская интерпретация славянской этничности для методологии исследования славянских племен? С одной стороны, она побуждает отказаться от представлений о славянской акефальности или ксенократии, так как, грубо говоря, не этносы создают политическую организацию, а политическая организация создает этносы. Соответственно разговор должен вестись не об отношениях между «славянами» и «не-славянами»,

а о сходстве или различиях в социально-политическом развитии разных регионов Центральной и Восточной Европы. С другой стороны, данная интерпретация позволяет иначе взглянуть на те общие черты, которые, несомненно, были присущи тем, кто стал называть себя славянами или назывался так извне. В современной историографии предлагается именовать этот объединявший людей комплекс черт «культурным габитусом» (Dzino 2010: 170–171), при этом четко отделяя его от этничности. Очевидно, что в понятие культурного габитуса могут быть включены не только язык, религия или элементы материальной культуры, но и те или иные формы социально-политической организации. Следовательно, отказ от именованья славянами всех славянофонных или носителей пражской культуры сам по себе не снимает проблемы происхождения племен как элементов культурного габитуса тех, кто стал именоваться славянами. Однако, в отличие от прежней парадигмы, рассматривавшей славянские племена как политические организмы некоего этнического целого – «славянского народа», новая интерпретация славянской этничности смещает исследовательский фокус с абстрактного «славянства» (которое перестает быть объектом исследования) на сами племена, а точнее, на социально-политические контексты, в которых происходили процессы политогенеза в тех или иных областях изначально славяноязычного или ставшего таковым со временем пространства. При таком подходе вместо единого «славянского мира» мы получаем несколько или даже множество «миров», то есть региональных контекстов политогенеза, и это множество есть не результат некоего разделения якобы существовавшей прежде единой общности, а, напротив, изначальное состояние той части варварского мира (*Barbaricum*) Европы, которая со временем в силу тех или иных факторов станет именоваться «славянским миром».

## **2. «Империи» или сети? Азиатский и африканский способы производства в Центральной Европе в IX–X вв.**

Характеризуя в своей недавно вышедшей книге, посвященной взаимоотношениям европейских империй и варваров, специфику развития раннесредневековых славянских политий, формировавшихся в X в. на землях, лежавших к востоку от Эльбы, – державы чешских Пржемысловичей, польских Пястов и русских Рюриковичей, известный британский медиевист Питер Хизер заострил внимание на присущих им огромных размерах, заметно отличавших эти «мегаполитии» от германских королевств, некогда складывавшихся на римском лимесе. Территориальная величина этих держав, как заметил исследователь, парадоксальным образом сочеталась с их политической хрупкостью, выражавшейся, в частности, в той сравнительной легкости, с какой из-под контроля их правящих элит в период внешнеполитических потрясений или династических кризисов уходили обширные периферийные области. Исследователь вполне логично объясняет эту особенность неразвитостью административного аппарата, а также эфемерностью власти правящих династий на далеких от центра окраинах: правитель мог эффективно контролировать только те земли, которые регулярно посещал лично (Хизер 2016: 683–695).

Но что же тогда позволяло Пржемысловичам, Пястам и Рюриковичам сначала завоевывать, а затем, пусть не очень прочно и не на постоянной основе, все же контролировать столь обширные территории? Отвечая на этот вопрос, исследователи традиционно указывали на центральную роль в процессах политогенеза в Центральной и Восточной Европе института дружины. Описанием так называемой «большой дружины», находившейся на содержании правителя и позволявшей ему почти непрерывно и успешно воевать, бесконечно расширяя пределы своей державы, считалось, в частности, известное свидетельство дипломата из Кордовского халифата Ибрагима ибн Йакуба о порядках, царивших в 960-е гг. в молодой державе Пястов. Рассказывая о польском правителе Мешко, Ибн Йакуб сообщает: «Подати собираются им (Мешком) в весовых торговых мерах и идут на оплату его людей. Ежемесячно каждый из них получает определенное число их. У него (Мешка) три тысячи воинов в брони, (разделенных) на отряды. И одна сотня их равняется десяти сотням других (воинов). Он дает этим мужам одежду, коней, оружие и все, что им потребуется. И когда у кого-то из них родится ребенок, тотчас по рождении он (Мешко) приказывает выплатить ему деньги, будет ли ребенок мужского или женского пола. Когда ребенок достигнет совершеннолетия, то он женит его, если это мужчина, и выплачивает за него свадебный подарок (вено) отцу девушки. Если же это женщина, то он выдает ее замуж и выплачивает вено ее отцу» (Стефанович 2012: 269).

Арабскому дипломату вторит автор древнейшей польской хроники Галл Аноним, приводя внушительные цифры воинов, состоявших на службе преемника Мешко на польском троне Болеслава Храброго (992–1025) : «...в Познани он имел 1300 рыцарей с 4 тыс. щитников, в Гнезно – 1500 рыцарей и 5 тыс. щитников, в городе Влоцлавке – 800 рыцарей и 2 тыс. щитников, в Гдече – 300 рыцарей и 2 тыс. щитников» (Галл Аноним 1961: 38). Хотя Галл писал свой труд почти спустя столетие после правления Болеслава, хронист, по мнению большинства исследователей, опирался в данном случае на заслуживающий доверия ранний источник (Стефанович 2012: 271).

В числе некоторых других, менее красноречивых свидетельств источников, эти яркие описания военной организации первых Пястов послужили основанием для формирования в польской и чешской медиевистике представления о ведущей роли дружины в становлении раннесредневековой государственности в Центральной Европе. Чешский ученый Ф. Граус, впервые введший понятие «большой дружины», отличавшейся от других форм дружины своей многочисленностью и государственным характером, считал, что она формировалась как из свободных, так и несвободных воинов самого разного социального и этнического происхождения. Всех их объединяла безусловная преданность правителю и вытекающая из этого социальная противопоставленность локальной знати, то есть всем тем, кто не был обязан своим высоким статусом правителю. Поступаемая Граусом борьба большой дружины с племенной аристократией привела будто бы к полному исчезновению последней из социальной жизни: правящую элиту страны составляли теперь исключительно члены княжеского рода и их люди (Graus 1965).

Под влиянием идеи Грауса о центральной роли большой дружины в формировании государства, а также выявленного многолетними исследованиями глубокого структурного сходства в системе управления, существовавшей в ранне-средневековых Чехии, Польше и Венгрии, в центральноевропейской средневековой модели государственности (Třeštík, Krzemieńska 1979; Тржештик 1987; Жемличка, Марсина 1991). Суть ее заключается в том, что к XI в. в упомянутых трех странах Центральной Европы сложился определенный облик социально-политической организации, базовой характеристикой которого являлись верховная собственность правителя на всю землю и его право свободно распоряжаться своими подданными любого социального статуса – от чиновников административного аппарата до составлявших большинство населения свободных крестьян-общинников. Этот принцип социально-политической организации обусловил, как предполагалось, специфическую систему управления и изъятия прибавочного продукта. Управление строилось через систему градов (княжеских замков), в которых размещались воинские контингенты из состава «большой дружины» во главе с чиновниками-каштелянами. Эти контингенты, фактически ставшие основой формирующегося административного аппарата, содержались за счет налогов с населения градских округов, а всем необходимым (в первую очередь разнообразными продуктами ремесленного производства) снабжались благодаря так называемой «служебной организации» – системе, при которой обеспечение нужд обитателей градов осуществлялось посредством специально сформированных для этой цели «профессиональных» групп, размещаемых внутри града либо в его ближайших окрестностях. По словам одного из главных авторов концепции средневропейской модели государственности чешского историка Д. Тржештика, средневропейское государство можно «приравнять к одной большой усадьбе, где поселился князь со своими воинами и где все остальное население являлось по существу зависимыми крестьянами князя» (Тржештик 1987: 127).

Если исходить из такой базовой характеристики «средневропейской модели», как возможность правителя свободно распоряжаться, то есть «владеть», землей и живущими на ней людьми, то в ней нетрудно усмотреть локальную разновидность одной из магистральных линий социальной эволюции, основанной на свойственной всем архаическим социумам принципиальной неотделимости собственности от власти и власти от собственности, то есть на феномене так называемой власти-собственности, некогда существовавшей повсеместно, а с распространением в античном Средиземноморье частнособственнического способа производства, продолжившего господствовать в той части мира, которая не испытала соответствующего воздействия античной цивилизации (Васильев 1978, 2008, 2015: 167–171). В марксистской социологии эта модель социально-экономического развития обычно именовалась «азиатским способом производства» или «восточным феодализмом» (Крадин 2004: 43–46; Алаев 2019: 161–168). Правда, сами авторы концепции средневропейской модели государственности не были особенно склонны к рассмотрению обозначенных ими признаков данной модели в широкой антропологической перспективе. Более важным для них было указать на принципиальное отличие сложившейся в Центральной Ев-

ропе социально-политической организации от того, что в это время наблюдалось на европейском западе, где в X–XII вв. господствовало крупное землевладение знати, отношения которой с правителем строились не на беспрекословном подчинении, а на основе вассалитета.

Согласно гипотезе Д. Тржештика, появление схожих форм социально-политической организации в трех странах Центральной Европы объясняется институциональным наследием существовавшего здесь более раннего славянского политического организма – Великой Моравии. Подобно державе Пржемысловичей в правление Болеслава I Грозного (935–972), державе Пястов в правление Болеслава Храброго, державе Арпадов в правление Иштвана Святого (997–1038), Великая Моравия – держава Моймировичей – эпохи своего наивысшего расцвета представлена в историографии гигантским политическим организмом, своего рода «славянской империей», сопоставимой по своим размерам с империей Каролингов. В середине IX в. Моравское княжество, зародившееся около 800 г. в бассейне реки Моравы (притока Дуная), охватывало относительно компактную территорию, протянувшуюся с запада на восток от Чешско-Моравской возвышенности приблизительно до реки Уг в Словакии, а с юга на север – от Дуная и Матры до Северных Карпат (Гавлик 1985; Раткош 1985; Třeštík 2001). Однако в правление князя Святополка (871–894) территория, в той или иной степени находившаяся под властью моравского правителя, увеличилась в несколько раз. В результате около 890 г. власть Святополка распространялась, помимо моравского ядра, на (как минимум) земли Чешской котловины, Лужиц, Силезии, Малой Польши и среднего течения Тисы (Navlík 1960). Именно в Великой Моравии, по мысли Тржештика, были впервые реализованы те принципы политической организации, которые легли в основу средневропейской модели, причем непосредственным импульсом к формированию их в самой Моравии было сильное влияние на нее монархии Каролингов, еще сохранявшей в ту эпоху традиции позднеантичного патримониального государства (Třeštík 1987, 1999).

Идея преемственности средневропейской модели государства от Великой Моравии, якобы унаследовавшей черты каролингского патримониализма, является, чего не скрывали сами авторы концепции средневропейского государства, ее наиболее слабым звеном – скорее догадкой, нежели гипотезой. И дело здесь не только в том, что наших знаний об общественно-политическом строе Моравии явно недостаточно для обоснования такой преемственности. Важнее другое: как отмечали сами творцы концепции средневропейской модели государственности, не все элементы этой модели заработали сразу. Кристаллизации «средневропейской модели» в ее классической форме предшествовал, по мысли самих создателей концепции, более или менее длительный период, когда главным источником ресурсов для правящей элиты была отнюдь не эксплуатация свободных общинников через систему градов, а то, что приобреталось правителем и его людьми в результате захватнических войн и обложения данью завоеванных племен (Žemlička 1995). Именно эта ранняя фаза развития и определялась господством «большой дружины», столь ярко описанной Ибн Йакубом.

Переход к внутренней эксплуатации как основной форме изъятия прибавочного продукта и связанная с ним территориализация дружины (оформление градской системы и служебной организации) произошли лишь после того, как возможности дистанционной эксплуатации были исчерпаны. Индикатором социально-политического тупика, обусловленного неадекватностью прежнего образа жизни новым социальным условиям, некоторым исследователям видится череда кризисов, потрясших все три военные монархии Центральной Европы в течение первой половины XI в.: чешский кризис 1003–1004 гг., когда столица Пржемысловичей Прага оказалась в руках польского правителя Болеслава Храброго, польский кризис 1030-х гг., приведший к захвату польской столицы чехами и языческой реакции, и также сопровождавшийся выступлениями язычников венгерский кризис 1030–1040-х годов (*Idem* 2013). Оказавшись под угрозой утраты независимости или коллапса структур управления, все три монархии сумели восстановиться, усовершенствовав механизмы внутренней эксплуатации при сохранении базового принципа власти-собственности.

В последние годы, в первую очередь в чешской историографии, концепция средневропейской модели государственности подвергается все более активному пересмотру (Jan 2007; Antonin 2011; Vaníček 2013; Kalhous 2014). Главное, с чем не согласны ее критики, – тезис об элиминации знати и отсутствии частного землевладения. Так, в работах Л. Яна и Я. Клапште, посвященных чешскому нобилитету эпохи классического Средневековья, обосновывается такая интерпретация социально-политической эволюции раннего Чешского государства, которая позволяет говорить о дуалистическом характере властной структуры: нобилитет не только выступает таким же социально-политическим актором, как и правитель, но и обладает достаточным имущественным тылом в виде наследственного землевладения (Jan 2000, 2007; Klápště 2006). В этой связи так называемая «трансформация XIII в.» (приход в Центральную Европу классического западноевропейского феодализма) теряет свой революционный характер, по сути, представляя реализацией давно существовавшей тенденции к эмансипации знати. Хотя актуальный спор о роли знати в чешском обществе касается прежде всего эпохи классического Средневековья, выводы критиков закономерным путем ретроспекции могут быть распространены на древнейший период, на эпоху предполагаемого господства «большой дружины».

Впрочем, критические соображения в адрес концепции средневропейской модели государственности и дружинного государства как ее ранней фазы высказываются не только на основе ретроспекции, но и на основе общей логики. Так, В. Ваничек просто считает невозможным существование «аристофобной» дружины, неустанно боровшейся с локальной знатью: такая картина явно не отвечает социальному ландшафту раннесредневековой Европы, вызывая ассоциации скорее с радикальными социальными экспериментами XX в. (Vaníček 2013; 2016: 146–147). Д. Калхоус адресует концепции «большедружинного государства» ряд неудобных вопросов, включая такой: как, например, дружинники становились несвободными боевыми слугами правителя, если происходили из числа отпрысков все той же «племенной» знати? Тщательно подсчитав (на основе западноевропейских источников) расходы на содержание вооруженных воинов,

исследователь совершенно не обнаруживает у чешского правителя в X столетии возможностей содержать и снаряжать такое огромное войско. В результате Калхоус склоняется к мнению, что в древнейший период своего существования Чешское государство строило свое единство не столько на власти правителя, сколько на компромиссе вовлеченных в общее и, видимо, взаимовыгодное дело элит. Общая цель, а не подданство – вот что заставляло элиты зачастую отдаленных от Праги этнополитических организмов поддерживать харизматических Пржемысловичей (Kalhous 2012).

В целом в современной историографии наблюдается тенденция релятивизировать роль центральной власти в ранних государствах Центральной Европы. Это касается не только Чехии, но и Польши, Венгрии, а также Великой Моравии, где в последнее время исследователи обращали все большее внимание на наличие рядом с родом Моймировичей некоей группы малых князей (Lysý 2014; Steinhübel 2014). Несмотря на все, несомненно, рациональные зерна, которые содержатся в критике концепции средневропейской модели государственности, думается, было бы все-таки неправильно заходить слишком далеко, считая, к примеру, свидетельство Ибн Йакуба не столько отражением реальности, сколько дискурсивным образом обусловленным социальным опытом кордовского дипломата, воображавшего славянского князя по образцу восточного монарха (Kalhous 2012). О том, что в Центральной Европе действительно существовала сильная княжеская власть, в первую очередь говорит сравнение раннесредневековых Чехии, Польши и предшествовавшей им Великой Моравии с тем, что наблюдалось в других славянских странах – Хорватии, Сербии, Ободритском и Поморском княжествах на Балтике и др. Общей чертой названных стран является господство локальных родственных коллективов, территориальных или городских общин при слабости или неразвитости центральной власти и ее административного аппарата. Следует поэтому полностью согласиться с типологией политогенетических процессов, предложенной в свое время Б. Н. Флорей, где Хорватия и Поморье стоят в одном ряду не с Чехией или Польшей, а с раннесредневековой Швецией (Флоря 1991).

Однако можно согласиться с наблюдением, недавно еще раз акцентированным П. Хизером, что эта сильная власть охватывала только ядро государства, а отнюдь не всю территорию, находившуюся под властью правителя. Лучше всего об этом свидетельствуют археологические материалы, относящиеся к строительству княжеских градов и уничтожению старых племенных центров. Многолетние археологические исследования, проводившиеся в Чехии и Польше, позволили на основе картографии и хронологии строительства фортификаций выявить четкие очертания таких ядер (Slama 1983; Kara 2009, 2012, 2013, 2015). В случае с Польшей имеется и уникальный документ – грамота «Dagome iudex», содержащая описание границ территории государства, символически даримого князем Мешко римскому престолу. Это государство, именуемое в документе по названию главного града Гнезно, интерпретируется современными исследователями как первичный «патримоний», то есть пространство безраздельной власти рода Пястов (Kurnatowska, Kara 2010; Buko 2012; Kara 2016). Та-



ким образом, на первый план выходит именно вопрос о характере подчинения периферийных областей.

К сожалению, ввиду относительной скудости имеющихся в нашем распоряжении свидетельств источников, сколько-нибудь детально охарактеризовать наиболее раннюю, «завоевательную», фазу в становлении ранних государств Центральной Европы довольно затруднительно. Главные вопросы, которые здесь возникают, следующие: в чем именно заключались ресурсы военной экономики и каков был механизм редистрибуции? Очевидно, что только дав внятные ответы на эти вопросы, можно понять, в какой мере формирование ранних государств в Центральной Европе было отражением универсальных векторов социальной эволюции, а в какой – порождением специфических социокультурных влияний, шедших из Западной Европы. Наиболее адекватные имеющейся источниковой базе соображения на этот счет были высказаны в историографии относительно чешского случая, что побуждает остановиться на нем более подробно.

Обширную многоплеменную державу, построенную в 930–960-е гг. чешским князем Болеславом I Грозным, продолжившую свое существование при его преемнике Болеславе II Благочестивом (972–999) и фактически распавшуюся в начале XI в., в историографии обычно называют Чешским (или Древнечешским) государством, не выделяя ее таким образом, по крайней мере в том, что касается названия, из общей линии развития раннесредневековой чешской государственности. Такое именование, однако, едва ли можно считать вполне корректным. Современные существованию державы Болеслава I источники не называют ее Богемией или Чехией, что представляется логичным в свете того, что земли Чешской котловины составляли примерно одну четверть от ее обширной территории. Нередко державу Болеслава обозначали просто по имени правителя или определяли по названию ее главного центра – Праги, хотя встречались и более экзотические наименования. Так, в трактате византийского императора Константина Багрянородного «Об управлении империей» (середина X в.), в котором эта держава упоминается как легендарное первоначальное место проживания хорватов, откуда они якобы переселились в пределы империи ромеев, она именуется Великой Хорватией. В письме испанского сановника Хасдая ибн Шафрута хазарскому царю Иосифу (960-е гг.) жители этой же, судя по всему, страны именуются «Гебалим». Как убедительно показал Д. Тржештик, этот странный этноним – аллюзия к упоминаемому в Ветхом Завете финикийскому эмпорию Гебал (Библос), ассоциации с которым могло навевать еврейским купцам Пражское торжище. Эта ассоциация, по мысли чешского исследователя, было обусловлена тем обстоятельством, что, судя по информации еврейской книги «Иосиппон» и итинерария еврейского путешественника Вениамина Тудельского, страна славян, на территории которой находилось Пражское торжище, ассоциировалась у еврейских авторов с библейским Ханааном, где родители продавали в рабство собственных детей (Třeštík 2000).

Иными словами, все указывает на то, что своего устоявшегося названия держава Болеслава I не имела, что для варварской Европы являлось скорее правилом, нежели исключением. Несмотря на то, что политическим центром и главным рынком страны была Прага, расположенная в Богемии, империя Бо-

леслава фактически представляла собой мультиполитию: она состояла из целого ряда этнополитических единиц. Так, в одной только Силезии, судя по данным известной грамоты 1086 г., подтверждавшей границы Пражского епископства и отражавшей при этом реалии X в., насчитывалось несколько «племен» со своими названиями. Более крупными составными частями державы были три большие области, каждая из которых имела центральное поселение с важным торжищем: Богемия с Прагой, Моравия с Оломоуцем и Краковская земля (Steinhübel 2012). Как остроумно подметил Д. Тржештик, даже идеология этой державы (отраженная в созданной в конце X в. «Легенде Кристиана») строилась не на гентильной традиции племени чехов (первые следы которой отыскиваются лишь спустя полтора века в сюжете о праотце Чехе и его потомках, воспроизведенной в «Хронике» Козьмы Пражского), а на роли Праги как ее главного политического и экономического центра (Třeštík 2000).

К сожалению, скудость имеющихся свидетельств не позволяет воссоздать процесс формирования Пражской державы во всей необходимой полноте, но общая направленность ее территориального развития вырисовывается из совокупности имеющихся в распоряжении исследователей материалов довольно четко. В то время как предшественник Болеслава, его старший брат Вацлав, вероятно, пытался достигнуть компромисса как с оказывавшим давление на своих восточных соседей саксонским королем Генрихом Птицеловом, так и с все еще сохранявшимися в Чешской котловине «малыми князьями», не относившимися к безраздельно господствовавшему в ее центре, по крайней мере, со второй половины IX в., роду Пржемысловичей, Болеслав предпочел более жесткую политику. Он сумел за довольно короткий срок ликвидировать полунезависимые политические организмы Чешской котловины, дав при этом эффективный военный отпор саксонской интервенции. Жесткий характер подчинения «малых князей» четко прослеживается по археологическим материалам: прежние княжеские грады были разрушены, а рядом с ними были воздвигнуты новые, ставшие опорными пунктами Болеслава. Скорее всего, только после этого, создав для себя прочную базу в Богемии, Болеслав начал экспансию за пределами Чешской котловины.

Впрочем, утверждать со всей определенностью, что действия чешского правителя имели именно такую последовательность, нельзя: хронология экспансии Болеслава остается в современной историографии дискуссионной темой. Такой авторитетный знаток вопроса, как Д. Тржештик, полагает, что строительство империи было начато Болеславом вскоре после 935 г. и этому не помешало даже состояние войны с Оттоном. К 950 г., когда Болеслав после военного поражения был вынужден признать над собой сюзеренитет Оттона, империя, по мнению чешского медиевиста, уже была построена (Třeštík 2000: 49–70). Похожим образом рассуждает и словацкий историк Я. Штайнхюбель, считая, что вся империя была выстроена Болеславом за считанные годы и что ему не было необходимости для начала покорять чешских князей: обе задачи могли выполняться параллельно (Steinhübel 2012). Иную хронологию выстраивает в своем фундаментальном исследовании об империи Болеслава польская исследовательница М. Матля-Козловская. Исходя из своего резко расходящегося с предшествующей историо-

графической традицией тезиса, вдохновленного открытиями чешского археолога П. Чеха при раскопках града Жатец, что еще Вацлав начал ликвидацию малых княжеств Чешской котловины, польская исследовательница полагает, что еще в правление предшественника Болеслава создались условия для начала широко-масштабной экспансии за пределы Чешской котловины. Саму экспансию Болеслава исследовательница делит на два этапа: в то время как северная часть Моравии, Силезия и Краковская земля были покорены, по ее мнению, в конце 930-х – начале 940-х гг., следующая фаза экспансии, возможности для которой создала победа Оттона над венграми в 955 г., охватила южную Моравию, западную Словакию и земли, лежавшие к востоку от Краковской земли (Matla-Kozłowska 2008).

Какова бы, однако, ни была внутренняя хронология экспансии, *terminus post quem* всего процесса определяется довольно четко: это период между 961 и 966 г., так как именно к этому времени относится знаменитое свидетельство уже упоминавшегося еврейского путешественника Ибрахима ибн Йакуба о том, что Болеслав правит Прагой, Богемией и Краковом. Правда, в Чешской хронике Козьмы Пражского сообщается о том, что следующий чешский правитель, Болеслав II Благочестивый, еще более расширил империю, однако о характере его территориальных приобретений трудно сказать что-либо определенное, в отличие от более хорошо отраженных в источниках крупных территориальных потерь, произошедших в самом конце правления сраженного тяжелой болезнью князя и фактически означавших конец гегемонии Праги в Средней Европе.

Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что в период своего наивысшего могущества Пражская держава, включавшая моравские и словацкие земли на юге и силезские земли на севере, тем не менее была сильно вытянута по оси «запад – восток», так как объединяла в своем составе Богемию и всю Краковскую землю. Восточные пределы державы Болеслава четко обозначены в упоминавшейся выше грамоте с описанием границ Пражского диоцеза, данной в 1086 г. императором Генрихом IV пражскому епископу Яромиру. Хотя многие вопросы, связанные с характером и генезисом описания границ в данном документе, остаются дискуссионными, результаты многолетних исследований позволяют рассматривать данные грамоты как вполне надежные свидетельства эпохи существования Пражской державы. Описание границ диоцеза в действительности является описанием границ двух епископств – Пражского и Моравского, учрежденных не позднее 976 г. Известно, что в период, когда пражская кафедра возглавлялась епископом Войтехом, произошло слияние обоих епископств в единый диоцез с центром в Праге. Учитывая, что в Чешской хронике Козьмы Пражского, в которой приводится текст грамоты, содержится ссылка на некую «привилегию св. Войтеха», исследователи резонно полагают, что документ в данном случае отражает границы объединенного диоцеза, созданного Войтехом. Согласно данному документу, восточными границами диоцеза в его первоначальном, соответствовавшем ситуации X в., виде были реки Буг и Стырь (*Bug scilicet et Ztir*), то есть, несомненно, протекающие очень близко друг к другу верховья этих рек, позволяющие четко наметить географический рубеж.

Как уже отмечалось выше, Краков был одним из важнейших поселенческих и торговых центров державы Болеслава. Есть веские основания полагать, что еще задолго до этого данное поселение являлось центром сильного потестарного образования – земли вислян: славянское племя с таким названием упоминается в трех заслуживающих доверия источниках IX в. В одном из них – Паннонском житии св. Мефодия – рассказывается о том, как князь вислян, именуемый здесь «очень сильным языческим князем», причинял вред христианам (возможно, мораванам). Мефодий посоветовал ему креститься, заметив, что в противном случае он может быть крещен в плену на чужой земле. Так как предсказание Мефодия, по словам автора жития, исполнилось (Флоря 2004: 191), из этого следует, что мораване покорили Вислянскую землю, крестив местного князя. Вопреки высказывающимся время от времени в историографии скептическим оценкам, серьезных оснований сомневаться в этой информации данного источника нет. Особенно важно то, что вытекающий из письменных источников вывод о вислянах как о заметной политической силе хорошо соотносится с археологическими материалами: в первую очередь наличием в Кракове двух гигантских курганов (известных из позднейшей средневековой традиции как курганы Крака и Ванды), несомненно, свидетельствующем о высоком статусе и престиже местной элиты, и характерными для Малой Польши крупными городищами, немалая часть которых была воздвигнута в VIII–IX вв. (Вико 2015).

В свое время польским ученым Ю. Видаевичем была выдвинута идея о существовании в IX в. мощной Вислянской державы, будто бы доходившей на востоке до верховьев Западного Буга и Стыри (Widajewicz 1947). Несмотря на возобладавшую в последующий историографии скептическую позицию в отношении данного тезиса, естественно обусловленную нехваткой информации источников, а также тем, что в землях восточнее Вислока, в том числе в верховьях Буга и Стыри, многие исследователи не без оснований стали размещать отдельное славянское племя – лендзян, общая логика исследователя совсем не кажется устаревшей. Так, относительно быстрое подчинение чехами огромного региона от Кракова до верховьев Стыри логично объяснить тем, что здесь к тому времени уже существовала некая потестарная структура, на которую Болеславу можно было бы опереться в установлении своего политического контроля (Kalhous 2012). В этой связи не кажется чем-то невероятным, что висляне и лендзяне составляли единый политический организм под эгидой Кракова.

Ключевой вопрос, однако, состоит в природе этого политического контроля. Историографический консенсус заключается в том, что формы контроля Пржемысловичей над пространством, расположенным вне Чешской котловины, сильно отличались от того, что наблюдалось внутри: никакой системы княжеских градов и элиминации местных элит за пределами Богемии не было и в помине. Да и, понятное дело, не могло быть: на слишком огромной территории империи не могли внедрить данное институциональное *know-how*. Ссылаясь на содержащееся в «Чешской хронике» Козьмы Пражского изолированное упоминание присутствия чехов в Кракове на момент занятия города польским правителем, исследователи высказывают логичное мнение, что формой контроля Болеслава над землями, лежавшими за пределами Богемии, было присутствие чешских

гарнизонов в важнейших стратегических центрах империи Болеслава (Matla-Kozłowska 2008). Однако одних гарнизонов для удержания под властью Праги столь обширных пространств было недостаточно, вследствие чего в историографии высказывается и другое, не менее логичное соображение: местные элиты на периферии империи должны были сохранить свое положение и сотрудничать с Пржемысловичами. Развивая перспективную мысль Д. Калхоуса об общей цели как движущей силе центростремительных процессов в Центральной Европе и элитном компромиссе как механизме ее реализации, следует задаться вопросом: а что же, собственно говоря, толкало периферийные элиты к сотрудничеству с харизматичным родом из центральной Чехии? Кажется, у современных исследователей есть хотя и гипотетический, но довольно убедительный ответ.

К настоящему времени в науке накоплена богатая информация о проходившем через Прагу, Оломоуц и Краков торговом пути, связывавшем земли Кордовского халифата и франкских королевств на западе Европы с Хазарским каганатом на востоке (Назаренко 2001). Этот путь являлся не чем иным, как центральноевропейским участком глобального трансевразийского сухопутного торгового маршрута, связывавшего Европу с Восточной Азией. Уже сама территориальная конфигурация Пражской империи, вытянутой с запада на восток вдоль этой торговой трассы, а также центральная роль в ней городов, обладавших крупными торжищами (Прага, Оломоуц, Краков), позволили исследователям считать, что завоевания Болеслава не были проявлением обычной территориальной экспансии, движимой простой целью расширения подвластной князю территории (Třeštík 2000). Скорее всего, эти завоевания были вызваны стремлением поставить под свой контроль торговую магистраль, связывавшую Восточно-Франкское королевство с Хазарским каганатом. Интересно, что один из стратегически важных участков трассы (Трстеницкая дорога, соединявшая северо-восточную Чехию с Силезией) пролегал через расположенные на северо-востоке Чехии владения Славника, что наряду с рядом других обстоятельств побудило чешских исследователей окончательно отбросить популярные некогда представления о Славнике как о племенном князе белых хорватов, который по какой-то неведомой причине сохранил свое племенное княжество внутри империи Пржемысловичей. Напротив, многое указывает на то, что область Славника была апанажем в составе империи Болеслава, выделенным для одного из родственников правящей династии (*Ibid.*).

Контроль над дальней торговлей как главный источник ресурсов империи Болеслава выглядит тем более вероятным, что в распоряжении исследователей есть целый комплекс надежных данных об активном функционировании в X в. Пражского торжища, несомненно, являвшегося в это время рынком общеевропейского значения. При этом есть основания полагать, что контроль над торговлей был не только основным источником мощи чешского правителя, но и источником лояльности интегрированных в империю локальных элит. Подобная оценка ситуации естественным образом вытекает из обращения к источникам, характеризующим политическую ситуацию в зоне прохождения описанного выше торгового маршрута в X в. Почти во всех из них тщательно фиксируются названия этнополитических единиц (племен) Центральной Европы, вне зависи-

мости от того, под чьей верховной властью (Праги, Киева или Хазарского каганата) они находились.

Особенно интересно в этом отношении сообщение «Анналов Пегау», где сообщается о некоем могущественном предке чешских королей по имени Буго, в котором, скорее всего, следует видеть Болеслава I. По словам источника, этот славный правитель распространил свою власть вплоть до «провинции серингов». Под «провинцией серингов» в данном случае, в соответствии с давней античной традицией, сохранявшейся и в Средневековье, надлежит понимать одну из отдаленных восточных стран, расположенных на Великом шелковом пути, возможно, даже Китай (Třeštík 2000). Если помнить о том, что вышеупомянутый торговый путь, связывавший Прагу и Краков с Булгаром и Хазарией, был частью более глобального маршрута, соединявшего Европу с оазисами Мавераннахра и китайскими государствами, предположение, что таким причудливым образом в позднейшей традиции был осмыслен торговый характер империи Болеслава, не кажется таким уж невероятным. Такое осмысление может свидетельствовать об обусловленности дискурса политического доминирования практикой дальней торговли, что, в свою очередь, может указывать на сетевой характер политического контроля: протянувшаяся далеко на восток, пусть не до Китая, но хотя бы до Руси, держава Болеслава предстает здесь не столько империей, сколько межсоциальной коммуникативной сетью.

Давно высказанное в чешской историографии предположение о центральной роли контроля над дальней торговлей в формировании и функционировании империи Болеслава, если рассматривать его в широкой антропологической перспективе, заставляет вспомнить о понятии африканского способа производства. Автор данного понятия, французская исследовательница К. Кокри-Видрович, обобщив соответствующие наблюдения Ж. Сюре-Канала и М. Годелье над развитием ряда обществ Тропической Африки, определяла его как сочетание патриархально-общинной экономики с контролем относительно узкой элитной группы над внешней торговлей (Coquery-Vidrovitch 2010). Рассматривая место африканского способа производства в политогенетических процессах, В. А. Попов справедливо заключает, что речь идет об одном из универсальных способов вторичного развития политогенеза у первобытных обществ «в условиях специфического воздействия развитых классовых обществ в форме торговых контактов» (Попов 2007: 423). Заметим в связи с этим, что африканский материал дает множество примеров такого воздействия, которые бы могли быть весьма полезны при обсуждении славянского политогенеза на окраинах империй Каролингов и Людольфингов – от вовлеченных в трансатлантическую работорговлю городов-государств дельты Нигера, которые В. А. Попов предложил называть «военно-торговыми параполисами», до средневековых военно-торговых империй Западного Судана (Гана, Мали, Сонгай).

В связи с участием элит и формированием сетей следует обратить внимание на сходство, которое Пражская держава обнаруживает со своей геополитической предшественницей – Великой Моравией. В то время как империя Болеслава сложилась в качестве своеобразного «нароста» на границах державы Оттона, зависимость от которого Болеслав признал в 950 г., Великую Моравию аналогичные отношения связывали с Восточно-Франкским королевством. Экспансия Ве-

ликой Моравии на север и восток, в земли языческих славянских племен, стала возможной после того, как в 874 г. Святополком был заключен Форххаймский мир с Восточно-Франкским государством, обязавшим моравян поставлять дань своему западному соседу, но развязывавшим правителю руки в отношении язычников. Интересно и значительное сходство в регионах экспансии. Вскоре после Форххаймского мира жертвой моравской экспансии стало упоминавшееся выше Вислянское княжество, как о том свидетельствует цитированное выше свидетельство «Жития» Мефодия: большинство исследователей датируют это событие периодом между 875 и 879 гг. (обзор мнений см.: Łowmiański 1970).

Ряд исследователей, ссылаясь на отраженные в грамоте 1086 г. границы державы Пржемысловичей, проходившие по верховьям Буга и Стыри, считали, что эти границы воспроизводили границы Великой Моравии, опиравшиеся, в свою очередь, на границы Вислянской державы (*Ibid.*). Если принимать во внимание геополитическую преемственность империи Пржемысловичей по отношению к Моравии, данная интерпретация выглядит хотя и недоказуемой, но как минимум допустимой, ведь до объединения Пражского и Моравского епископств под властью епископа Войтеха границы на Буге и Стыри должны были быть границами именно Моравского епископства с центром в Оломоуце. В свое время Х. Ловмянский, отстаивая свою идею, что описание соответствует Моравской архиепископии 899 г., сомневался в таком охвате Моравской епископии после венгерского нашествия (*Ibid.*). Между тем этот аргумент можно обратить против – распространение моравской церковной инфраструктуры в условиях утраты юрисдикции над Карпатской котловиной на северо-восток выглядит как минимум логичным. Хотя мы далеки от того, чтобы поддерживать безосновательные гипотезы о перемещении на северо-восток культурных очагов моравской христианской цивилизации, вроде тех, что высказывались в историографии, некое смещение населения в более безопасные области вполне могло иметь место.

Еще несколько десятилетий назад в историографии было принято описывать Великую Моравию как раннефеодальную монархию, подданные которой подвергались централизованной эксплуатации (историографию см.: Kalhous 2016). Яркое выражение такой подход нашел, в частности, в трудах чешского ученого Л. Гавлика, последовательно применявшего к Моравии понятие восточного феодализма. Исследователь полагал, что изъятие прибавочного продукта, базировавшееся на эксплуатации непосредственного производителя, осуществлялось как в ядре Моравии, так и на завоеванных Святополком территориях, с той разницей, что в захваченных землях все же не дошло до полной узурпации земельной собственности государством, то есть правителем и его людьми, а эксплуатация осуществлялась посредством сбора дани князьями-наместниками, правившими при помощи моравских гарнизонов (Гавлик 1985). В сущности, подобным же образом рассуждал и Д. Тржештик, привлекая в качестве доказательства существования в Моравии государственной дружины данные арабской анонимной записки IX в., в которой сообщается о правителе страны славян по имени *Св.т.м.л.к* (Святополк?), который обладал боевым конем и крепкими доспехами, в то время как его воины ни того не другого не имели. Тржештик усматривал

в этой информации намек на то, что правитель сам снабжал своих воинов конями и доспехами, как это спустя сто лет делал Мешко из сообщения Ибн Йакуба. В Моравии, по мысли Тржештика и его сторонников, должны были существовать и зачатки служебной организации (возникшей под влиянием каролингского опыта) и градской системы, то есть зачатки той системы, которая будет характеризовать среднеевропейскую модель государства. Основой для формирования ее в Моравии должна была стать адаптация каролингского опыта (Třeštík 1987; Тржештик 1991; Тржештик, Достал 1991).

Как уже отмечалось, теория среднеевропейской модели государственности применительно к Моравии строилась главным образом на основе ретроспекции. Собственно моравский материал не давал существенных оснований для безоговорочных утверждений о существовании здесь служебной организации или централизованной эксплуатации. Высокий уровень социально-политической зрелости моравской политики, под которым в данном случае подразумевалась развитие феодальных отношений, определялся исследователями главным образом на основе несомненных признаков социальной стратификации, выражающейся прежде всего в элитных погребениях, а в еще большей степени – на основе существования в Моравии, помимо обычных городищ и сельских поселений, так называемых агломераций предгородского типа (Бялекова 1985). Данный термин используется по отношению к гигантским сложносоставным поселениям Микульчице близ Годонина, Старе Место близ Угерске, Градиште и Поганско близ Бржецлава, которые как по своим размерам, так и по своему характеру мультифункциональных комплексных поселений являются совершенно уникальными для славянского мира IX в. Если добавить к этому внушительное монументальное строительство (в течение IX в. в моравских центрах, в первую очередь в вышеупомянутых агломерациях, было построено несколько десятков каменных храмов) и довольно развитое ремесленное производство, то традиционное для историографии причисление Моравии к списку раннефеодальных государств, в котором Моравии нередко присваивался почетный титул первого славянского государства, совсем не покажется удивительным.

Таким образом, археологический «фасад» Моравии долгое время воспринимался в историографии как вполне соответствовавший тому образу сильного, успешно соперничавшего с могущественными франками государства, который вырисовывался из материалов письменных источников: величие Моравии и в том и в другом случае объяснялось успешной феодализацией. Однако недавно под влиянием прежде всего результатов новых археологических исследований появилась иная, существенно расходящаяся с предшествующей трактовка того, как функционировала моравская политическая организация. Важный импульс к ее появлению дала развернувшаяся в чешской исторической науке дискуссия о причинах падения Великой Моравии (Třeštík 1987; 1991; 1999). Вышеупомянутая хрупкость больших политий Центральной Европы, на которую недавно в очередной раз обратил внимание П. Хизер, в случае с Моравией кажется особенно обескураживающей, ведь речь здесь шла не только об утрате контроля над периферийными областями, но и о фактическом запустении и деградации самого моравского хартленда в долине реки Моравы.



Хотя в целом коллапс моравской политики, несомненно, был связан с вторжением венгров и его глобальными последствиями для всего региона Карпатской котловины, это обстоятельство вовсе не снимает вопроса о непосредственных причинах деградации агломераций в долине Моравы, которые, как показывают результаты археологических раскопок, отнюдь не были разрушены венгерскими завоевателями и так и не оказались под их властью. Отталкиваясь от этого обстоятельства, чешский археолог И. Штефан предложил иное объяснение запустения агломераций, связав его с разрушением инфраструктуры дальней торговли, имевшей, по мнению И. Штефана, жизненное значение для моравской политики. Действительно, через Моравию в IX столетии шли как минимум два важных торговых маршрута – это путь от Карнунтума до Венеции, северным ответвлением которого, как подчеркивает Штефан, и были главные моравские реки – Морава и Дые, и путь по Дунаю, который вел из Западной Европы в Болгарию и Византию. Поселенческая структура моравского ядра была, по мысли Штефана, всецело подчинена интересам дальней торговли: агломерации на Мораве и Дые были пунктами, куда прибывали купцы, а концентрация городищ на участке «Братислава – Девин» объясняется необходимостью защищать пересечение торговых путей в районе Карнунтума (Štefan 2011: 342). Именно контроль над торговлей, а отнюдь не централизованная эксплуатация, никаких реальных признаков которой так и не удалось обнаружить в моравских археологических материалах, и был, по мнению чешского исследователя, главным источником ресурсов для моравского правителя, а также важнейшим средством обеспечения лояльности не только элиты, но и основной массы населения – свободных мораван. На последнюю мысль исследователя натолкнули главным образом материалы погребений с воинским снаряжением, в том числе всаднические, широко встречающихся на рассыпанных по территории моравского ядра обычных сельских некрополях. Как полагает Штефан, это были погребения не представителей элиты, а обычных свободных мораван, участвовавших в военных кампаниях правителя и получавших посредством редистрибуции престижные предметы, аккумулировавшиеся в руках правителя и его окружения благодаря эффективно организованному моравской элитой контролю над дальней торговлей (*Ibid.*: 349).

Помимо археологических материалов, определенную роль в рассуждениях Штефана о роли дальней торговли в функционировании моравской политики сыграла и аналогия с позднейшей державой Болеслава I Пржемысловича, которая выглядит тем более привлекательной, что в обоих случаях важным, если не основным с точки зрения доходности, товаром были рабы. Имеющаяся в распоряжении исследователей информация о товарах, перемещавшихся торговыми караванами через Пражскую державу Болеслава, а также известные сюжеты из биографии боровшегося с работорговлей пражского епископа Войтеха, позволяет говорить о довольно интенсивной торговле рабами в Чехии X в. Штефан полагает, что похожим образом обстояло дело и в Великой Моравии, рисуя картину возросшего на арабском рынке спроса на рабов в условиях борьбы церкви с продажей в рабство христиан: в таких условиях удовлетворить спрос на рабов можно было только за счет попадавших в плен язычников, каковых Моравия,

находившаяся на самом краю христианского мира, могла приобретать в немалых количествах (Štefan 2011).

В комплементарном отношении с моделью функционирования моравской политики, предложенной И. Штефаном, находится и концепция чешского археолога Й. Махачека, обобщившего результаты своих многолетних исследований великоморавского поселения Поганско под Бржецлавом в виде стройной концепции моравского циклического вожества. По мысли Й. Махачека, Моравия, так и не достигшая стадии ранней государственности, представляла собой развитую форму вожества, критически зависевшую от дальней торговли. В своем стремлении мобилизовать богатство моравская воинская элита фактически была замкнута на центральные поселения, где осуществлялась торговля и происходило распределение престижных предметов. Поселенческая система при этом имела классическую бимодальную форму, когда сельское население концентрировалось в непосредственной близости к центральным укрепленным агломерациям, фактически образуя их сельский хинтерланд. Желая обрести большую степень эмансипации от социума и иметь свой собственный источник дохода, моравский правитель обзавелся еще одной резиденцией и собственным, то есть подконтрольным только ему, эмпорием в Поганско, где имел возможность организовывать торговлю и аккумулировать необходимые средства для поддержания своего престижа и привлечения последователей (Macháček 2007; 2010; 2012; 2013).

Как показала недавняя дискуссия на страницах чешского журнала «Археологическое обозрение», не все исследователи готовы согласиться с вышеописанной военно-торговой моделью функционирования моравской политики. Если оставить в стороне ссылки на отсутствие в источниках достаточных доказательств тезиса о центральном значении работоторговли в моравской экономике, так как аналогичный упрек можно адресовать и сторонникам тезиса о централизованной эксплуатации, следует обратить внимание на такие внешне бесспорные аргументы, как наличие у моравской верхушки зрелой государственной стратегии вроде стремления создать собственную церковную организацию, высокий уровень военной организации, позволявший поставить во главе войска иностранца, искушенность в дипломатии и устойчивость к не раз сотрясавшим моравскую державу кризисам, вызываемым франкской интервенцией (Profanto-vá, Profant 2014). Все это, по мнению критиков военно-торговой модели, трудно совместить с организацией власти, замкнутой на контроль над торжищами и не обладающей возможностью систематически изымать прибавочный продукт у основной массы свободного населения.

Таким образом, если, абстрагируясь от множества нюансов, перевести актуальную на сегодняшний день полемику вокруг характера моравской социально-политической организации на язык политической антропологии, то можно сказать, что ее интерпретация колеблется между азиатским и африканским способами производства (Алимов 2012). Какой модели следует отдать предпочтение? Следует признать, что на основании одних лишь свидетельств письменных источников, фрагментарных, не всегда ясных и зачастую допускающих амбивалентное толкование, ответить на этот вопрос невозможно. В этой связи главное

внимание справедливо оказывается прикованным именно к археологическим данным, хотя на сегодняшний день их также не удастся однозначно интерпретировать. Показательна в этом плане дискуссия, развернувшаяся вокруг функционального назначения огромных зальных построек с земляным, покрытым песком полом, большое количество которых (свыше 70) было обнаружено археологами в укрепленном, прилегающем к акрополю, то есть центральному городищу, квартале Микульчицкой агломерации, именуемом предградьем. В свое время археолог Й. Поулик, обнаруживший эти постройки в ходе своих эпохальных раскопок Микульчицкой агломерации, интерпретировал их как помещения для размещения дружины великоморавского правителя, ссылаясь на обнаруженные при раскопках детали воинского снаряжения.

Совсем иначе смотрит на назначение этих построек Й. Махачек. Отмечая, что обнаруженные здесь немногочисленные предметы военного назначения (стрелы) и воинской экипировки (детали поясов) могли происходить из более ранних довеликоморавских (аварских) слоев, Махачек заостряет внимание на обнаружении при раскопках этих зданий орудий женского рукоделия – костяных шил, что дает исследователю основание выдвинуть предположение, что большие постройки с земляным полом служили для размещения пленников. Если это так, показательно само размещение этих людей в самом сердце страны в особом квартале в непосредственной близости от местонахождения носителей верховной власти: как отмечает Махачек, пленники были главным богатством моравского вождя и мораван как гентильной общности (Macháček 2015). И хотя, как справедливо замечают Н. Профантова и М. Профант, критикуя военноторговую модель Махачека, пленники – это отнюдь не рабы, так как могли быть отпущены за выкуп (Profantová, Profant 2014), ничто не мешает допустить, что рабами эти люди все-таки становились.

В целом материалы источников об экономической ситуации в Центральной и Восточной Европе в IX–X вв., обобщенные в недавнее время в целом ряде публикаций, позволяют, хотя и с осторожностью, поддержать ту линию интерпретации политогенетических процессов в Центральной Европе, которая связывает подъем местных элит и аккумуляцию в их руках ресурсов, необходимых для поддержания власти и престижа, с формированием в регионе инфраструктуры дальней, прежде всего крупномасштабной, работоторговли. На этом фоне провоцирующим дальнейшую дискуссию можно считать недавно прозвучавшее предположение Ф. Янковяка, объясняющего появление защищенных стенами крупных пустых пространств внутри славянских городищ, таких как Нашацовице на юго-востоке Польши, необходимостью содержать в них большое количество рабов (Jankowiak 2012). Подобная догадка возникла в связи со странным и до сих пор не объясненным в историографии скоплением на юго-востоке Польши и западе Украины, то есть в регионе, последовательно находившемся в сфере влияния Великой Моравии и державы Пржемысловичей, гигантских по размерам городищ. Хотя подобная идея в принципе хорошо сочетается с пониманием ранних славянских империй как политически институционализированных коммуникативных сетей, обеспечивавших сотрудничество элит в дальней торговле,

стоит подчеркнуть, что никаких положительных аргументов в ее пользу пока не может быть приведено.

Справедливо критикуя популярные некогда в историографии эволюционистские интерпретации политогенеза, любившие оперировать такими понятиями, как социальное созревание и разложение племенного строя, польский ученый П. Урбаньчик назвал ранние державы варварской Европы «частными предприятиями» сильных харизматических кланов – Пржемысловичей, Пястов, Рюриковичей, венгерских Арпадов и датских Скьельдунгов (Urbańczyk 2008: 68). В таком заявлении много справедливого, так как ранние державы возникали «здесь и сейчас» методом проб и ошибок, по сути являясь импровизациями нескольких сильных группировок. Следует также полностью согласиться с теми авторами, которые обращают внимание на ограниченность любой этнокультурной перспективы в интерпретации социальной истории (раннего) Средневековья, когда задним числом выстраивается линия преемственности от более позднего, культурно и цивилизационно оформленного, состояния этнокультурного организма к более ранним фазам развития, когда еще трудно говорить о его кристаллизации. Такого рода ретроспективный подход побуждает, например, искать корни того или иного народа или государства в эпоху, когда ни государств, ни народов в привычном нам понимании не существовало. Подобный же ретроспективный подход трактует славянский мир как некую вещь в себе, заставляя отыскивать в славяноязычном пространстве общие закономерности социального развития или будто бы только ему присущие социокультурные особенности. Между тем, как со всей очевидностью явствует из рассмотренной выше актуальной дискуссии о так называемых «славянских племенах», «славянское племя» – это не более чем историографический конструкт, в то время как в реальности речь идет об универсальных путях надлокальной интеграции в варварском обществе раннесредневековой Европы, демонстрирующих сугубо ситуативные различия, обусловленные региональным контекстом.

Несколько сложнее обстоит дело с ранними славянскими государствами, появившимися в Центральной Европе в IX–X вв. Сходство, которое они между собой демонстрируют, настолько значительно, что поневоле заставляло исследователей задумываться о его глубинных причинах. Так, в частности, родилась концепция средневропейской модели государственности, в рамках которой прозвучал важный тезис о Великой Моравии как судьбоносном для последующего социально-политического развития региона опыте адаптации славянами элементов каролингской политической организации. Однако из приведенных выше наблюдений над ходом и результатами современных исследований кажется, что по крайней мере отдельные черты этого сходства можно объяснить общими закономерностями социальной эволюции в регионах, первоначально лежавших за пределами ареала распространения частнособственнического способа производства. В первую очередь речь идет об универсальности феномена власти-собственности и основанных на нем механизмах редиистрибуции. Во-вторых, крайне важными для социального развития ранних славянских политических были их положение на границах империй и ориентация на удовлетворение их торгового спроса. Неслучайно концепция африканского способа производства,

то есть формы вторичного политогенеза, основанного на вовлечении элиты архаического социума в крупные внешние транзакции, оказывается столь полезной как при интерпретации политогенеза в ядре ранних государств, так и при понимании механизмов интеграции далекой периферии в единую коммуникативную и институциональную сеть.

Сказанное, конечно, не означает, что сходство между ранними славянскими государствами сводится только к универсальным путям социальной эволюции и вторичного политогенеза. Однако все же следует заметить, что наибольшая близость и даже единство социально-политических и культурных практик характерны уже для эпохи христианизации и первых веков после принятия христианства. Имеющиеся исследования позволяют говорить о том, что это сходство было не столько результатом предшествующего племенного периода, сколько следствием культурной диффузии в результате распространения сложившейся в Центральной Европе (прежде всего в Карантии, Паннонском княжестве и Великой Моравии) модели христианской славянской культуры (Homza 2014; Vaníček 2017), включавшей в себя особый язык, письменность и идеологию, и тех аспектов социальной организации, которые составляли с этой моделью нерасторжимое единство в рамках того, что медиевисты именуют «социальным знанием».

Есть основания полагать, что таким же результатом культурной диффузии была и сама славянская идентичность, первоначально существовавшая только в Моравско-Паннонском регионе и на Балканах (Homza 2002, 2018; Verešová 2008, 2011; Алимов 2018). Распространение культурных импульсов из первичных очагов христианской славянской культуры, таких как Великая Моравия, было, однако, невозможно без созданной в предшествующий период политической инфраструктуры, будь то система сбора дани с отдаленных племен или сетевая структура, возникшая в интересах обслуживания и извлечения доходов из дальней торговли. В этом смысле можно говорить о том, что и сам славянский мир, если понимать под ним зону распространения славянской идентичности и более или менее сходных практик социально-политического устройства, стал результатом политогенетических процессов и надлокальной интеграции эпохи раннего Средневековья.

### Библиография

- Алаев Л. Б. 2019. *История Востока с древнейших времен до начала XX века*. М.: ЛЕНАНД.
- Алимов Д. Е. 2012. «Африканский способ производства» в Великой Моравии? (Заметки на полях статьи Иво Штефана). *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana* 1(11): 183–196.
- Алимов Д. Е. 2013. Потестарная организация в славянском мире в IX–X вв.: в поисках «простого вожества». *Ранние формы потестарных систем* / Отв. ред. В. А. Попов, с. 133–163. СПб.: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера).
- Алимов Д. Е. 2016. *Этногенез хорватов: Формирование хорватской этнополитической общности в VII–IX вв.* СПб.: Нестор-История.

- Алимов Д. Е. 2018.** «Пражская империя» и лендзяне: размышления о появлении славянской идентичности в Восточной Европе. *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana* 2(24): 117–144.
- Бондаренко Д. М. 2007.** Сложности со «сложностью» (Гетерархия, гомоархия и категориальные расхождения между социальной антропологией и синергетикой). *Общественные науки и современность* 5: 141–149.
- Бялекова Д. 1985.** Развитие форм поселений в Великой Моравии. *Великая Моравия, ее историческое и культурное значение* / Ред. В. Д. Королюк, Г. П. Мельников, Й. Поулик, П. Раткош, Г. Э. Санчук, Б. Хроповский, с. 108–125. М.: Наука.
- Васильев Л. С. 2008.** Власть-собственность – генеральная структура неантичных и добуржуазных обществ. *Восток как предмет экономических исследований* / Отв. ред. А. М. Петров, с. 7–24. М.: Ключ-С, 2008.
- Васильев Л. С. 2015.** *Всеобщая история*. Т. 1. *Древний Восток и Античность*. М.: КДУ.
- Гавлик Л. 1985.** Государство и держава мораван (К вопросу о месте Великой Моравии в политическом и социальном развитии Европы). *Великая Моравия, ее историческое и культурное значение* / Ред. В. Д. Королюк, Г. П. Мельников, Й. Поулик, П. Раткош, Г. Э. Санчук, Б. Хроповский, с. 96–107. М.: Наука.
- Горский А. А. 2011.** Славянское расселение и эволюция общественного строя славян. Великое переселение народов. *Этнополитические и социальные аспекты* / Ред. В. П. Буданова, А. А. Горский, И. Е. Ермолова, с. 129–180. СПб.: Алетейя.
- Горский А. А. 2016.** (Ответы). В: Горский А. А., Плетерский А., Пузанов В. В., Шувалов П. В., «Племя» в славянском мире в раннее Средневековье (форум). *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana* 1(19): 3–15.
- Жемличка Й., Марсина Р. 1991.** Возникновение и развитие раннефеодальных централизованных монархий в Центральной Европе (Чехия, Польша, Венгрия). *Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI–XII вв.)* / Отв. ред. Г. Г. Литаврин, с. 167–189. М.: Наука.
- Крадин Н. Н. 2004.** *Политическая антропология*: учебник. 2-е изд., испр. и доп. М.: Логос.
- Мазарчук Д. В. 2006.** Модели социо- и политогенеза в современной науке (иерархические и гетерархические общества). *Право и демократия* 17: 41–50.
- Назаренко А. В. 2001.** *Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII вв.* М.: Языки русской культуры.
- Попов В. А. 2007.** Политогенетическая контрверза, парapolитейность и феномен вторичной государственности. *Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии*: в 2 т. / Сост. и отв. ред. В. В. Бочаров. Т. 2. *Политическая культура и политические процессы*, с. 321–344. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та.
- Раткош П. 1985.** Великая Моравия – территория и общество. *Великая Моравия, ее историческое и культурное значение* / Ред. В. Д. Королюк, Г. П. Мельников, Й. Поулик, П. Раткош, Г. Э. Санчук, Б. Хроповский, с. 81–95. М.: Наука.
- Стефанович П. С. 2012.** *Бояре, отроки, дружины: военно-политическая элита Руси в X–XI веках*. М.: Индрик.
- Толочко А. П. 2015.** *Очерки начальной Руси*. Киев; СПб.: Лаурус.

- Тржештик Д. 1987.** Среднеевропейская модель государства периода раннего Средневековья. *Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей* / Отв. ред. Г. Г. Литаврин, с. 124–133. М.: Наука.
- Тржештик Д. 1991.** Возникновение славянских государств в Среднем Подунавье. *Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI–XII вв.)* / Отв. ред. Г. Г. Литаврин, с. 69–86. М.: Наука.
- Тржештик Д., Достал Б. 1991.** Великая Моравия и зарождение Чешского государства. *Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI–XII вв.)* / Отв. ред. Г. Г. Литаврин, с. 87–105. М.: Наука.
- Флоря Б. Н. 1991.** Эволюция социальных и общественно-политических структур и возникновение государства. *Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI–XII вв.)* / Отв. ред. Г. Г. Литаврин, с. 190–207. М.: Наука.
- Флоря Б. Н. 2004.** *Сказания о начале славянской письменности*. СПб.: Алетейя.
- Щавелев А. С. 2015.** Славянские «племена» Восточной Европы X – первой половины XI века: аутентификация, локализация и хронология. *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana* 2: 99–133.
- Ančić M. 2000.** U osvit novog doba. Karolinško carstvo i njegov jugoistočni obod. *Hrvati i Karolinzi*. Dio I. *Rasprave i vrela*, s. 70–103. Split.
- Ančić M. 2011.** Ranosrednjovjekovni Neretvani ili Humljani: Tragom zabune koju je prouzročilo djelo De administrando imperio. *Hum i Hercegovina kroz povijest*. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenog 2009. Knj. I / Ur. I. Lučić, s. 217–278. Zagreb.
- Antonin R. 2011.** Model středoevropského typu středověkého státu jako interpretační problém české a polské medievalistiky. *Historia Slavorum Occidentis* 1(1): 65–76.
- Boroń P. 2001.** Słowiańskie plemię. O pojęciu i jego rozumieniu w polskiej historiografii. *Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin*, s. 189–207. Wrocław.
- Budak N. 1990.** Die südslawischen Ethnogenesen an der östlichen Adriaküste im frühen Mittelalter. *Typen der Ethnogenese unter besonderer Berücksichtigung der Bayern*. Teil 1 / Hrsg. von H. Wolfram, W. Pohl, S. 129–136. Wien.
- Buko A. 2012.** Ośrodki centralne a problem najstarszego patrymonium dynastii Piastów. *Archeologia Polski* 57(1–2): 133–159.
- Buko A. 2015.** Zanim powstało państwo Piastów. O osobliwościach ziemi krakowskiej IX–X wieku w świetle danych archeologii. *Studia nad dawną Polską* 4: 37–61.
- Coquery-Vidrovitch C. 2010.** Research on an African mode of production. *Perspectives on Africa: A Reader in Culture, History and Representation* / Ed. by R. R. Grinker, S. C. Lubkemann, C. B. Steiner, pp. 139–150. 2<sup>nd</sup> ed. Oxford.
- Crumley C. L. 1987.** A Dialectical Critique of Hierarchy. *Power Relations and State Formation* / Ed. by T. C. Patterson, C. Ward Gailey, pp. 155–168. Washington: American Anthropological Association.
- Curta F. 2001.** *The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, 500–700*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dzino D. 2010.** *Becoming Slav, Becoming Croat: Identity Transformations in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia*. Leiden; Boston: Brill.

- Earle T. 2011.** Chiefs, Chieftaincies, Chiefdoms and Chiefly Confederacies: Power in the Evolution of Political Systems. *Social Evolution & History* 10(1): 27–54.
- Fokt K. 2016.** Slavic Ethnopolities: A Few Remarks on the “Tribal Question” as Answer to the Questionnaire of “Studia Slavica et Balcanica Petropolitana”. *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana* 1(19): 33–38.
- Graus F. 1965.** Raně středověké družiny a jejich význam při vzniku států ve střední Evropě. *Československý časopis historický* 14: 1–18.
- Havlík L. E. 1960.** Územní rozsah Velkomoravské říše v době posledních let vlády krále Svatopluka. *Slovanské štúdie* 3: 9–79.
- Hill J. D. 2011.** How did British Middle and Late Pre-Roman Iron Age Societies Work (If They Did)? *Atlantic Europe in the First Millenium B.C.: Crossing the Divide* / Ed. by T. Moore, X.-L. Armada, pp. 242–263. New York.
- Homza M. 2002.** Niekoľko téz k počiatkom slovenského etnika. *Studia Academica Slovaca* 31: 285–295.
- Homza M. 2014.** *Stredná Európa I: Na začiatku stredoveku*. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.
- Homza M. 2018.** A Few Words about the Identity of the Slavs, Yesterday, Today, and Tomorrow. *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana* 1(23): 3–41.
- Jan L. 2000.** *Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy*. Brno: Masarykova univerzita.
- Jan L. 2007.** Skrytý půvab “středoevropského modelu”. *Český časopis historický* 105(4): 873–902.
- Kalhous D. 2012.** *Anatomy of a Duchy. The Political and Ecclesiastical Structures of Early Přemyslid Bohemia*. Leiden; Boston: Brill.
- Kalhous D. 2014.** *Model státu středoevropského typu: Koncept na pomezí tradice a inovace.* (Ke kontinuitě a diskontinuitě v české historiografii po r. 1948.) *Forum Historiae* 8: 159–173.
- Kalhous D. 2016.** Velká Morava v představách poválečné české historiografie a archeologie. Sonda do problematiky pojetí státu a společnosti. *Tradycje i nowoczesność Początki państwa polskiego na tle śródkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych* / Red. H. Kóćka-Krenz, M. Matla, M. Danilewski, s. 71–91. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- Kara M. 2009.** *Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji?* *Studium archeologiczne*. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2009.
- Kara M. 2012.** Mediewistyka historyczna i archeologia średniowiecza w badaniach nad początkami państwa Piastów. Przykład «współpracy» historiografii i archeologii. *Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji* / Red. S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska, s. 869–884. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- Kara M. 2013.** Historiografia i archeologia polska o mechanizmach formowania się władztwa Piastów. Próba zestawienia ważniejszych poglądów. *Instytucja «wczesnego państwa» w perspektywie wielości i różnorodności kultur* / Red. J. Banaszkiewicz, M. Kara, H. Mamzer, s. 303–316. Poznań: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu.
- Kara M. 2015.** Medieval Historical Studies and Medieval Archaeology about the Origin of the Piast State. An Overview. *Archaeologia Polona* 48: 37–58.



- Kara M. 2016.** Archeologia o początkach państwa Piastów. Nowe aspekty i wyniki badań. *Tradycje i nowoczesność Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach inter-dyscyplinarnych* / Red. H. Kóćka-Krenz, M. Matla, M. Danilewski, s. 175–186. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- Kasperski R. 2014.** Frankowie i Obodryci: tworzenie «plemion» i «królów» na słowiańskim Połabiu w IX wieku. *Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu* / Red. Z. Dalewski, s. 55–113. Warszawa: Instytut Historii PAN.
- Klápště J. 2006.** *Proměna českých zemí ve středověku*. Praha: Lidové noviny.
- Kurnatowska Z., Kara M. 2010.** Wczesnopiastowskie Regnum – jak powstało i jaki miało charakter? Próba spojrzania od strony źródeł archeologicznych. *Slavia Antiqua* 51: 23–96.
- Levak M. 2005.** Tragovi društvenog ustroja istarskih Slavena u ranom srednjem vijeku. *Raukarov zbornik: Zbornik u čast Tomislava Raukara* / Ur. N. Budak, s. 55–73. Zagreb.
- Levak M. 2007.** *Slaveni vojvode Ivana. Kolonizacija Slavena u Istri u početnom razdoblju franačke uprave*. Zagreb: Leycam international.
- Lysý M. 2014.** *Moravania, Mojmirovci a Franská ríša. Štúdie k etnogenéze, politickým inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnóm stredoveku*. Bratislava: Atticum.
- Łowmiański H. 1970.** *Początki Polski. Z dziejów słowian w I tysiącleciu n. e.*: 6 t. T. IV. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe.
- Macháček J. 2007.** Early Medieval centre in Pohansko near Břeclav/Lundenburg: Munitio, Emporium or Palatium of the Rulers of Moravia? *Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium*: in 2 vols. Vol. 1: The Heirs of the Roman West / Ed. by J. Henning, pp. 473–498. Berlin: Walter de Gruyter.
- Macháček J. 2010.** The Rise of Medieval Towns and States in East Central Europe: Early Medieval Centres as Social and Economic Systems. Leiden; Boston: Brill.
- Macháček J. 2012.** «Great Moravian State» – a Controversy in Central European Medieval Studies. *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana* 1: 5–26.
- Macháček J. 2013.** Great Moravian Central Places and Their Practical Function, Social Significance and Symbolic Meaning. *Zentrale Orte und Zentrale Räume des Frühmittelalters in Süddeutschland* / Hrsg. von P. Ettel, L. Werther, S. 235–248. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums.
- Macháček J. 2015.** O Velké Moravě, archeologii raného středověku i o nás samých. *Archeologické rozhledy* 67(3): 464–494.
- Matla-Kozłowska M. 2008.** *Pierwsi Przemysłidzi i ich państwo (od X do połowy XI wieku). Expansja terytorialna i jej polityczne uwarunkowania*. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- Profantová N., Profant M. 2014.** Modernizace moravské medievistiky? *Archeologické rozhledy* 66: 127–140.
- Steinhübel J. 2012.** *Kapitoly z najstarších českých dejín 531–1004*. 2. vydání. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce.
- Steinhübel J. 2014.** Velká Morava na polceste od kmeňa ku štátu. *Forum Historiae* 8(2): 71–97.
- Štefan I. 2011.** Great Moravia, Statehood and Archaeology. The “Decline and Fall” of One Early Medieval Polity. *Fruhgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Internationale Konferenz und Kolleg der Alexander von Humboldt-Stiftung zum 50. Jahrestag des*

*Beginns archaologischer Ausgrabungen in Pohansko bei Břeclav, 5.–9. 10. 2009, Břeclav, Tschechische Republik / Hrsg. von J. Macháček, Š. Ungerma, S. 333–354. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH.*

- Štih P. 1996.** Plemenske in državne tvorbe zgodnjega srednjega veka na slovanskem naselitenem prostoru v Vzhodnih Alpah. *Slovenci in država*, s. 21–45. Ljubljana.
- Štih P. 2007.** Karantanci – zgodnesrednjeveško ljudstvo med Vzhodom i Zahodom. *Zgodovinski časopis* 61(1–2): 47–58.
- Tolochko O. P. 2008.** The Primary Chronicle’s “Ethnography” Revisited: Slavs and Varangians in the Middle Dnieper Region and the Origin of the Rus’ State. *Franks, Northmen, and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe / Ed. by I. H. Garipzanov, P. J. Geary, P. Urbańczyk*, pp. 169–188. Turnhout: Brepols Publishers.
- Třeštík D. 1987.** Pád Velké Moravy. *Typologie raně feudálních slovanských států*, s. 27–76. Praha.
- Třeštík D. 1988.** České kmeny. Historie a Skutečnost Jedné Koncepce. *Studia Mediaevalia Pragensia* I: 129–143.
- Třeštík D. 1991.** Kdy zanikla Velká Morava? *Studia Mediaevalia Pragensia* 2: 9–28.
- Třeštík D. 1994.** Křest českých knížat roku 845 a christianizace Slovanů. *Český časopis historický* 92: 423–459.
- Třeštík D. 1999.** Místo Velké Moravy v dějinách. Ke stavu a potřebám bádání o Velké Moravě. *Český časopis historický* 97: 689–727.
- Třeštík D. 2000.** “Veliké město Slovanů jménem Praha”. Státy a otroci ve střední Evropě v 10. Století. *Přemyslovský stát kolem roku 1000: na paměť knížete Boleslava II (+ 7. února 999)*, s. 49–70. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
- Třeštík D. 2001.** *Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791–871.* Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
- Třeštík D., Krzemieńska B. 1979.** Hospodářské základy raně středověkého státu ve střední Evropě (Čechy, Polsko, Uhry v 10.–11. století). *Československý časopis historický* 17: 113–130.
- Urbańczyk P. 2008.** *Trudne początki Polski.* Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Vaniček V. 2013.** Paradoxy marxistické medievistiky z hlediska současnosti (koncept státoporné družiny raného středověku v české a německé historiografii). *Historia Slavorum Occidentis* 1(4): 13–42.
- Vaniček V. 2016.** Otázka role družiny při formování raného státu ve střední Evropě. *Tradycje i nowo-czesność Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych / Red. H. Kóčka-Krenz, M. Matla, M. Danilewski*, s. 141–164. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- Vaniček V. 2017.** Chrystianizacja Polski w kontekście środkowoeuropejskim (czynniki transformacji). *Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów / Red. J. Dobosz, M. Matla, J. Strzelczyk*, s. 125–151. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- Verešová N. 2008.** Vývoj chápania geografického termínu Sklavínia v historických prameňoch 6.–14. Storočia. *Historický zborník*. Vol. 1, s. 124–143. Martin: Matica slovenská.

- Verešová N. 2011.** Povest' vremennych let a jej koncepcia Slovienskoj zemli. *Historia Nova*. Vol. II: *Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika*, s. 12–20. Bratislava.
- Widajewicz J. 1947.** *Państwo Wiślan*. Kraków: Wydawnictwo Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Wojciechowski Z. 1927.** *Ustrój polityczny ziem polskich w czasach przedpiastowskich* (Pamiętnik Historyczno-Prawny. T. 4. Z. 2). Lwów.
- Žemlička J. 1995.** Expanze, krize a obnova Čech v letech 935–1055 (K systémovým proměnám raných států ve střední Evropě). *Český časopis historický* 93(2): 205–222.
- Žemlička J. 2013.** Europa Środkowa i jej wczesne państwowości: temat wyczerpany czy perspek-tywiczny? *Kwartalnik Historyczny* 120(4): 911–919.